

АЛЪМА
18+

НАХ РУССКОЙ ПОЭЗИИ
И ПРОЗЫ

Литературный оверлок

ВЫПУСК №1 / 2017



Мария Шамова

**Литературный оверлок.
Выпуск №1 / 2017**

«Издательские решения»

Шамова М.

Литературный оверлок. Выпуск №1 / 2017 / М. Шамова —
«Издательские решения»,

ISBN 978-5-44-839591-8

В альманахах вошли произведения выпускников Литературного института имени А. М. Горького, а также поэзия и проза других современных авторов России.

ISBN 978-5-44-839591-8

© Шамова М.
© Издательские решения

Содержание

От составителя	6
Проза	7
Илья Луданов	7
Дурь	7
Звериной тропой	13
Вечером	16
Иван Евсеенко – младший	18
Авдотья Львовна	18
Папин борщ	22
Конец ознакомительного фрагмента.	26

Литературный оверлок

Выпуск №1 / 2017

Авторы: Евсеенко Иван, Боочи Ольга, Смыслёнов Денис, Шамова Мария, Вебер Саша,
Вахитова Лилия, Луданов Илья, Владиславская Анна

Редактор-составитель Иван Иванович Евсеенко

Иллюстратор Ольга Боочи

Переводчик Ольга Боочи

© Иван Евсеенко, 2017

© Ольга Боочи, 2017

© Денис Смыслёнов, 2017

© Мария Шамова, 2017

© Саша Вебер, 2017

© Лилия Вахитова, 2017

© Илья Луданов, 2017

© Анна Владиславская, 2017

© Ольга Боочи, иллюстрации, 2017

© Ольга Боочи, перевод, 2017

ISBN 978-5-4483-9591-8

Создано в интеллектуальной издательской системе Ridero



От составителя

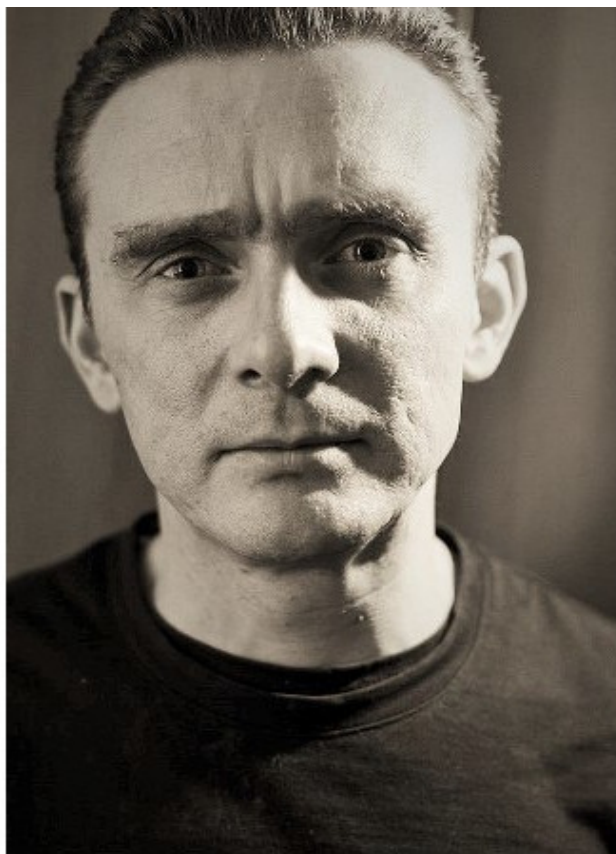
Альманах «Литературный оверлок» изначально задумывался мной, как творческая площадка для студентов Литературного института имени А. М. Горького, моих сокурсников. Тогда упорно хотелось, невзирая на шероховатость и несовершенство студенческих первых опытов, подшить написанное в некое издание. Сделать так, чтобы начинающий автор не впадал в депрессию от непрерывного писания «в стол». Но не всё в этой жизни складывается так, как задумываешь. В итоге, авторами альманаха стали люди не связанные между собой именем упомянутого учебного заведения, но объединённые любовью к русскому языку и русской литературе, а это куда веселее. Радует и то, что авторы альманаха совершенно разнятся между собой по стилистике и тематике предложенных произведений. В каждом из них, я в это свято верю, читатель непременно съест что-то для себя, новое и неповторимое.

Приятного прочтения, друзья!

*Редактор и составитель
Иван Евсеенко (мл)*

Проза

Илья Луданов



Родился в 1985 г. Учился в Литературном институте им. А. М. Горького, дипломант премии «Дебют», рассказы переведены на китайский и итальянский языки. Живет в Москве.

Дурь

Маша только вернулась, мы поужинали и пока я собирался, она прилегла и уснула. Не хватило смелости будить ее. Маша лежала, закинув голову на мягкий подлокотник и чуть сгорбившись. На открытое лицо сквозь занавески падали мягкие вечерние лучи; она не просыпалась. За окном ветер шевелил листья яблони, и прозрачные тени легко двигались по ее лбу, бархатным щекам, носу и бледно-розовым губам. Нигде не видел столько простоты и природной ясности, так много правдивой нежности, как в этом лице. Я улыбнулся, попрощался с Машей про себя и по дороге на станцию никак не мог усмирить волнение в груди от сознания, что она рядом.

Вокзал кипел, гудел и грохотал. Тихий вечер был ему нипочем. Не спеша бродили хмурые грузчики, рядом отчаянно разругалась молодая пара с грудой чемоданов. В забытом углу, кучей, так что лиц не разобрать, бузили пьяницы.

Обрадовавшись пустому купе, я сел у окна, желая скорее ехать. Перед самым отправлением вошел еще пассажир, старше меня, лет пятидесяти, среднего роста, коренастый, с легкой

сединой и умными глазами. Двигался он твердо и, казалось, сдержанно. Поставил вещи, взглянул коротко на меня и представился по фамилии:

– Платов.

Потом сел напротив и тоже стал смотреть в окно, тоже с нетерпением ожидая отправления.

Состав уже тронулся, как на платформе нам представилась дикая сцена без начала и конца. На кромке широкого фундамента вокзального здания стояло с десяток пивных бутылок, не убранных после чьих-то проводов. Только колеса вагона дали ход, из толпы вырвался парень, лет двадцати пяти и кинулся вдребезги бить одну за одной эти бутылки. Вокруг него все будто пропало, остался только он и стена вокзала, о которую он с тупой яростью крошил пивное стекло. Люди рядом в испуге отхлынули назад. Что вместе с бутылками в душе своей громил безумец нельзя было представить. Вагоны набирали скорость и последнее, что мы увидели, как наряд охраны бросился к нему.

Сцена тяжело подействовала на моего соседа. Он начал беспокойно оглядываться, будто кто еще находился в купе. Увидев безопасность, Платов стал неотрывно смотреть перед собой и чуть шевелить губами. Потом, приподняв густые брови, взглянул в мою сторону:

– А если б у него был пистолет?

Я не ответил, пожав плечами. Он то пытался что-то сказать, то насильно сдерживался. Потом бросил, как от безделицы:

– Вы, похоже, совсем одногодки с моим сыном.

Принесли постель и мы заказали чая. Начинало темнеть. Поезд как с полчаса вышел за город. Во всю ширь горизонта разошлась русская равнина с плоскими холмами, речками в полях, черной полосой леса на стыке неба и земли. Проплывали опустелые села. По горящим окнам и ухоженным дворам в них была видна жизнь. Платов долго смотрел в окно, и только тогда его беспокойство улеглось. Он принял задумчивый, отстраненный вид.

– Как, по-вашему, что это было на станции? – спросил он с любопытством, изучая меня.

– Даже не знаю, дурак какой-то. Напился, наверное, – смутился я от неожиданности.

– Может и напился, – протянул он. – А все-таки?

– Да я как-то не... ну, сбрендил, мало ли что... – мялся я, не зная что отвечать. – Задержали ведь. Посидит теперь, угомонится.

– Вы думаете? – встрепенулся Платов, будто только и дожидался от меня такого ответа, и заговорил с напором. – Угомонится! Посидит, значит, и угомонится. Да, так все теперь говорят. А вы не представили, что он мог броситься на людей?

– Но не бросился! – мыслил холодно я.

– А если бы у него оружие?

– Да кто знает, – забеспокоился теперь я. – Если у него, как это, повреждение ума – нужно в больницу. Может, вылечат...

– Да, может, вылечат, – кивнул Платов, глядя в сторону, как примеривался как лучше сказать и, помолчав, решил. – А может... вы не заметили в этой дикости что-то страшное, что-то животрепещущее? Чего нам нельзя остановить! Не знает наука способа! И только люди, сами люди силой прекратить могут? Нет? Не отвечайте, это не важно, – оборвал вдруг он, посмотрел на меня, на минуту задумался, и совершенно, как ни в чем не бывало, продолжил. – По этому предмету вспомнилась одна свежая история, произошедшая с моим сослуживцем. Мы приятели, я знаю дело в тонкостях.

– Пожалуйста, – легко согласился я слушать, от растерянности и не подумав отказаться. Платов еще замолчал, испытывая мою надежность, и заговорил:

– Представьте себе обычную, кроткую семью. Жена, муж моих лет, дети двое, после вузов. Работают, устраивают жизнь, все в полном, уравновешенном порядке, – Платов отки-

нул на спинку, весь погрузившись в память, и уже продолжал говорить спокойно, но местами, замирая в рассказе, дотошно наблюдал за моей реакцией.

– Муж, Олег Павлович, скажем, инженер. Днями на работе, по выходным удит рыбу на озере за городом и там же осенью охотится с сыном на уток. Озеро дивное, просторное. На берегу у них дачный домик, участок в десять соток. Рядом лес шумит верхушками.

Дочь Люда замуж выходит. Парень из приличной семьи. Дружат семьями, покупают молодым квартиру, ремонт делают. У дочери рождается девочка, деды не нарадуются, нянчатся, помогают молодым. Вполне себе, знаете, нормальная семья – дай бог каждому.

Проходит еще год и замечает Олег Павлович будто с Людой, дочерью, не все ладно. Замечает, как водится, через жену Катю, которая, как и положено, главное всегда сердцем чувала заранее. Отмалчивается Людочка, грустит. По телефону голос льдом обросший. Ну, Олег Павлович думает, может возраст такой, в ребенке, может, дело – после рождения у него Саши, первенца, и в Кате тревожное ощутилось. Но и жена Катя будто присмирела, напряжена, словно натянутая струна: пошепчется с дочкой, глянет с болью, будто сказать что хочет, и смолчит все равно. Берегут вроде как его. Он пару раз сам спрашивал, но ничего не прознал. Однако ж, всякой веревочке сколько ни виться... и вот раз на его вопрос в ответ – дикость – дочь Люда с мужем Володей живут плохо. Плохо это как, спрашивает? И вал на него: дурият зять – днем куда-то все пропадает, малыш без внимания, а главное – с женой не живут, не разговаривают совсем. А как, почему, не поймет никто... на днях напился, на Люду накричал. Два дня назад, пьяный, побил в ресторане стекла и посуды тысяч на двадцать.... Уставился Олег Павлович на жену и не поймет ничего. Как? Что? Только все было – не нарадоваться. Но собрался – ничего, говорит, разберемся. И к дочери. Та с порога в слезы. Не узнать его, говорит. То ничего все, ничего, а то – хоть в крик. Страшно мне, папа, говорит. Не за себя, за девочку страшно. Олег Павлович рассвирепел – голова гудит, руки мелко трясутся – и зятя искать. Вечером звонят из милиции – посадили его на две недели: устроил пьяную аварию, кидался на водителя. За что получил дубиной по голове. Но и сотрясения даже нет. Нипочем все дураку! Но все ж, суд да дело.

Платов семью вечером собрал, сватов позвал. И вскрылось – было раньше. Из армии когда вернулся, дурил страшно. Тогда, правда, многие того... Насмотрелись ребята. К родителям пришел, божился, что никогда ни капли... А через год еще хлеще. На деньги залетел, когда с ребятами торговать пробовали. Сначала ничего, вроде, все пошло. Пиво фурами возили. Самый ходовой в стране товар, после хлеба. Это раньше водкой упивались, а теперь пивом. И влезает больше, и веселье дольше... На деньги попал так, что пришлось бабкин дом продавать. Запил по-черному – коммерция, знаете ли. Неудача отравляет. Ходит такой вот новоявленный и одно в голове крутит – как же вон у него... а я чем хуже? Тогда, первый раз за драку, милицией все кончилось. Сами же они и позвонили, боялись убьет кого – мужик здоровый, пудов на шесть. Снова к родителям вернулся. Они – ну как тут быть? – и простили.

Ну, думает Олег Павлович, вернется, я ему, дураку... А самому боязно как-то. Тяжесть в груди и тоска на сердце, одним словом. Да, ничего, думает, переживем... Только сыну позволил. Решили, Саша приедет, с сестрой поговорит: разводиться – не разводиться. Пусть сама решает, как дальше.

За окном совсем стемнело, проводник включил тусклое ночное электричество, теплым светом осветившее Платова, но я видел его с необычайной четкостью, будто глаз дорисовывал в уме портрет по характеру и нерву рассказа. Тогда я заметил удивительное свойство моего соседа. В мелком движении губ, мышц щек, в стареющих глазах отражалось все его настроение, каждое движение чувств, и говорил он, будто точной картинкой видел все, о чем говорил. Я принес чая, и Платов с желанием выпил, сильно посахарив.

– Интересная ведь штука, – со стаканом в руке, он кивнул на окно. – Пустота черная, а внутри нее фонари вдалеке. Видите? Это хозяева включили свет на столбах у ворот. И двор

освещен, и прохожему примета. Сейчас редко где есть такая привычка, – Платов с удовольствием допил чай, покрутил стакан в руках и, со страхом и робостью, так не подходящих этому взрослому, крепкому человеку, обернулся ко мне.

– А ведь борются! – делал он второе ударение на «ю», сводя толстые губы кольцом. – Борются каждый день, такая вот штука! За себя, за семью, чтобы жить, растить детей... хотя каждый – точно, точно каждый знает – лучше не будет при нашей жизни! И горе будет, и счастье будет – у бога всего много, старики говорили, но вот есть жизнь, сама жизнь и больше ничего у человека нет, и эта жизнь – лучшее и главное, и нет ничего лучше самой жизни.

Я с легкой неприязнью и выражением усталости посмотрел на этого впавшего в запой откровения человека, не стараясь понимать, о чем он.

– Ну как же, да, да! Вы не видите?! Вот же, все перед нами – горят фонари в сумерках за окном, и не дай бог один погаснет. Что же это будет?

– А впрочем, – ответил Платов себе. – Что это я? Давайте дальше. Гнусная, правда, гадкая история. И говорить не хочется. А не могу вот не говорить! Как бабья сплетня: говорить – низко, а не сказать нельзя. Вы не устали? Что же там было...

За дни, что Володя провел в камере, они все обсуждали как быть. Решили везти в больницу. Не знали, что больше сделать. К нему ходили, так отказался, буянил, трезвый даже. В ночь на пятнадцатое, как сейчас помню, позвонили, что выпускают. Олег Павлович с Сашей сразу к дочери. У Люды лицо испуганное, белое. Час ждут, второй, нет его. Поужинали чем было, с малышкой играют. Тут звонок – снова пьяная драка: завалился он к знакомому по школе, тот его, пьяного, не пускает. Стал колотить дверь, разбил окно. Милиция показалась, сбежал. Ищут, значит, по всему городу. Они туда. Все как есть. Битое стекло под ногами хрустит, дети режут, милиция. Обозлился тогда Олег Павлович, сил нет терпеть такую нечисть, – как-то тяжело, глядя перед собой, с трудом произнес Платов. – Кровь вскипела – что же это никто с дураком поделаться ничего не может? Людей вокруг мучает, а сам... хоть бы шею себе свернул! И сын в него, – мерзость, все твердит, какая же мерзость...

К дому дочери подъезжают и чувство у Олега Павловича нехорошее как будто. Поднимаются, дверь приоткрыта и Люда на полу лежит без чувств, а вокруг красное пятнами. Большие такие, наляпанные пятна, – Платов побледнел от переживания рассказа и смотрел перед собой, словно видел все это. – Хорошо есть моменты, когда слов нельзя найти... Врачей, конечно, вызвали, милицию. Да толку? Медицина, правда, успокоила – порезы неглубокие, касательные, угрозы нет. И вот ходит Олег Павлович по квартире и молчит. Туго так молчит, что, кажется, отрежь он себе палец, так ни звука не будет. Саша в больницу поехал, а он отвез внучку жене. Девочка у Люды росла, Верочкой звать.

Дома взял ружья, сам решил искать. Саша из больницы вернулся, говорит, стабильно все, опасности нет. Но не в том дело было, понимаете, не в том! И лицо у Саши темное, голос глухой, что сразу не узнать его.

И отправились они вместе. По очереди проверяли вокзал и автостанцию, остановки, магазины и кабаки; осматривались. Полгорода объездили, и молча все, как заговорщики, одними глазами переговаривались. Тут вспомнилось, дед у Володьки есть. За городом, недалеко, живет. Подъезжают туда, а в доме, среди ночи, свет. Темень страшная – вот как сейчас, – кивнул Платов за окно. – Заходят, дед на кухне сидит, у стола, не спит. Понятное дело, думают – ни с кем с роду такой напасти не было. Только не до сочувствия им. Уходить собрались, а Саша и говорит: «Ты на кого тут дед наготовил?». Смотрят, а на плите яичница стоит, и на столе – хлеб и водка.. Дед молчит, будто воды в рот набрал. Поняли они тогда, что такое родство, что значит родной человек. Каким бы ни был, а не отдаст; тот его за тварь насекомую не считает, в лицо плюет, а нет, прятать будет, собой загородит.

Понять-то поняли, да только пошли к машине, ружья зарядили. Вернулись и давай рыскать, как дикие звери, по всем углам: комнаты, чердак, подвал. Во двор вышли, к сараю только

двинулись, как навстречу, через дверь – выстрел и пьяная ругань матом. Обернулись к старику. Дед под ноги им кинулся. Нет у него патронов, твердит. Один был в ружье, а ружье в сене закопано, сам нашел. Пустите его, хрипит, милицию зовите, кого угодно. И слезы у деда на глазах. Пусть они его забирают! Тут Саша, сын, говорит: «Они его уже забирали». И прикладом старика по голове с размаху. Тот так и покатился с глухим воем...

– Олег Павлович на что лют тогда был и то вздрогнул, – погрузнев и согнувшись, преврался Платов. – Давно не видел, как бьют, а тут сын... и старика пьяного.

В сарай входят, фонарями слепят, а Володька сидит на куче хлама, руками за голову схватился и скулит под нос. А пустое ружье на полу брошено. Всё, Олег Павлович говорит, выходи, стрелять тебя будем. А сам стоит и не поймет, что сам сказал. Тогда Саша подошел и со всего маху Володьку... Тот свалился, как охапок сена. Убью, думает себе Олег Павлович, сам убью. А там, как будет.

Он, потом, сколько сам себе удивлялся: никогда не думал, как можно так просто решиться убивать человека. Наверное, говорит, на войне так. Или ты, или тебя. И никак по-другому, не выйдет.

Приехали в домик на озеро. Ночь, темнота страшная. И звезды, наверху, молчат. В машине Володька сидел тихо, а тут бросился в сторону бежать. Саша легко догнал и так страшно бил ногами в лицо, как гадину какую топтал. Тот, весь израненный, на ноги еле поднялся. Какого, гудит, черта вы придумали? Увидел, верно, судьбу свою. Тогда Олег Павлович подошел и в зубы ему. Володька встал и снова: в милицию давайте. Перед законом отвечу, не перед вами. А Саша ему – ты закону зла не сделал, ты нам сделал. Тебе десятку дадут, да через пять выпустят. И гуляй, Вася. Нет, говорит Саша тяжело, едва не задыхаясь. Уж извините, слишком я паршивый христианин, чтобы отдать тебя под закон. Володька весь тут обмяк. А Олег Павлович на сына смотрит, и слова сказать не может, будто и не здесь он, и все вокруг делается само по себе.

Как заря взялась, в лес пошли. Среди темных елей и коричневых сосен, в зарослях черемухи, холод и тишина. Брошенной, заросшей дорогой брели долго, насколько сил хватило. Потом Саша лопату ему подает и ружье наставляет. Володька сжался весь, затих и копает себе тихо, только землей шуршит и палыми листьями. Тишина вокруг, дыхания слышно. Земля в чащобе тяжелая, сырая, корни. Закончил, когда совсем светло стало. Оборотился к ним Володька и говорит просто так, смиренно: вот он я, стреляйте, сволочи. Саша, потемневший лицом, ружье стариковское, из сарая, заряжает одним патроном ему протягивает и под выстрел себе Володьку ставит. Смотрит Олег Павлович страшно, омертвев.

Но не так вышло. Переменившись в миг, глянул Володька злобно, ружье к себе потянул, вроде как стреляется, и вскинул стволы, на Сашу направив. Грохнул тогда выстрел. упал Володька в яму, и возиться тихо так, без звука; только руками и ногами по земле шаркает. Саша, сын, подошел и выстрелил еще, – Платов посмотрел на меня с удивлением, как увидел в первый раз. Но тут вздрогнул и построжал.

– Зашатался Олег Павлович, не мог на Сашу смотреть. После этого никак не было сил в лицо ему глядеть. Боялся он увидеть что-то неживое. И пока яму заваливали, к домику пока возвращались и в город ехали, ни разу не посмотрел на Сашу. Сам бы я, думает Олег Павлович, не смог. Собаку, вроде, убили, а человека все же. В Бога хоть не верую – в школе верить не учили, а потом учили не верить, и никакой Библии не читывал – не смог бы человека заставить убить себя. Сам бы убил, но вот так... Грех ведь какой! Ни одна живая тварь в природе себя не умертвит. Только человек. И то непостижимо! Но если не себя самого, а другого заставить, что же это такое будет?

И говорить не мог. Перестал чувствовать себя рядом с ним.

Утром вернулся Олег Павлович домой, а жена, Катя, с внучкой нянчится. Из больницы звонят, Люда на поправку идет. Опасности нет, сказал доктор. Да, теперь опасности нет, ответил он доктору.

А Кате ничего не сказал.

Платов замолчал, отвернувшись к окну. Поезд шел лесом, за верхушками рдел восток, но о сне я не думал.

– А как же Саша?

– Уехал в тот же день в город. И больше они не виделись.

– Как так?

– Да вот, не смог больше Олег Павлович жить как жил. Как дочь из больницы вернулась, дела закончил и уехал. Сказал, на заработки, а сам... – Платов оборвано замолчал без выражения удачно завершённого рассказа, и смотрел с видом человека внезапно и сильно проигравшегося. Мне стало вдруг неудобно в купе, словно я лишний и нужно выйти.

– Но зачем они так сделали? – усилием отвлёк я себя от тяжелой догадки. – Понимаю, месть. Но не каменный же век. И дело даже не в законе. Но почему не лечить его?

– Бесполезно, – вкрадчиво, разделяя части слов, сказал Платов и посмотрел на меня, как на несмышлёныша. – А если он кого совсем убьёт? Ждать преступления?

– Но почему бесполезно? – не унимался я. – Мы с вами не психиатры, не можем сами решать. Почему не дать шанс? Нужно лечить, есть методы...

Платов замотал головой, отбиваясь от моих слов. Потом сверкнул на меня глазами, но не со злостью, а досадой, что рассказывал все впустую и что я не понял. Потом дернулся резко вперед, лицом к лицу, и заговорил жарко:

– Нельзя! Нет от этого спасения! Это не преступление, не дикость! При чем тут месть? Новости посмотрите – не всем так везёт! Нет от безумия разумного спасения! Это нельзя исправить придуманными законами!

Платов откинулся назад, сжался, будто решил не знаться с этими глупыми людьми, которые удивительно как еще не угробили себя и друг друга, и только все смотрел остекленевшим лицом в мутное предраассветное стекло.

Возбуждённый и огорчённый этим напором, я тоже замолчал. Ехали еще с полчаса, пока машинист не дал тормоз у незаметного полустанка. Платов вдруг засобиравался, хотя, казалось, упоминал, что ему до города. Он так спешил, что я не успел с ним проститься. А может, не желал прощаться. Только вагон в толчке замер против двухэтажного желтого вокзала, Платов бегом выскочил из купе, и когда я выглянул наружу, уже спрыгивал с рюкзаком и сумкой на платформу. Я наблюдал за ним. Он замер, удивленно озираясь, будто ожидал увидеть что-то знакомое, а оказался в совсем чужом месте, но в поезд не вернулся, натянул выражение недоверчивой суровости на еще час назад полное чувств и смятений лицо, обернулся, увидел меня, ничуть не изменившись в своей новой окаменелости, и бойко зашагал по щербатым плитам. Когда состав двинулся, Платов свернул прочь от путей по еле заметной тропинке, к зарослям ивняка и черемухи, обволоченных густым туманом, за которым не было ничего видно.

Я смотрел на этого полного грусти и растерянности, непонятого мной и чужого для людей человека, и думал про фонари в ночных полях. Скоро Платов, сделавшись черной точкой вдалеке, исчез в сыром тумане.

Мы проехали станцию, и открылась вольная долина. Алый диск показался над краем неба, но земля еще лежала в серой, прохладной тени. Только белёсые стволы молодых берёз, островками стоявших вдоль дороги, заиграли нежно золотым. Эта долина напомнила мне женщину. Выходило солнце, и вся она пропитывалась ясностью и нежностью. Земля окутывалась первым теплом дня.

В полях просыпалось село. Белёные дома с бурными железными и серыми шиферными крышами стояли чередой по берегам выходящей речки. В тени блеснуло зеркало запруды.

На бугре, среди густых верхушек, белела невысокая колокольня, и темнел старый купол. Фонари во дворах уже не горели. Из высоких труб струился легкий дым – остывшие избы протапливали по утрам. Мужики расходились по работам. Кто-то уже, до жары, вышел в поле. Другой мастерил что-то у сараев. Ребяшня собиралась в школу.

Село пролетело мимо, как случайный сон, и исчезло в утренней дымке, будто и не было. Подумалось, ему будет покойно здесь.

8—9 июня 2013, М.

Звериной тропой

Выше густого ивняка, отражаясь в широкой воде, нарезал круги потревоженный ястреб. Птичий крик звучал резко, отрывисто.

Он сдернул с плеча ружье, на ощупь достал патроны. Зарядил и, глухо хрустя болотными травами, двинулся к разлитой от половодья бобровой запруде.

Неделю как сошел лед. Полевые птицы еще не начали распев, но было совсем тепло. Он щурился на солнце, сверкавшее с неба и отовсюду с земли.

Вскинул двустолку на всплески в камышах. Легко посвистывая, не страшась выстрела, перед ним набирала высоту пара крикв. Червленая мушка села под блестящего перламутровой головой селезня, провела за ним черту по белесому небу и сникла. Он совсем не умел разбивать пары, стрелял лишь одиночек. Утки дали низкий от горячей апрельской любви круг у него над головой и ушли по речке, буйной стремниной убегавшей от озера по ложине. Еще недельку-другую полетают, потом она найдет себе скрытное местечко в дебрях или затопленных камышах и сделает гнездо, думал он, закинув стволы за спину.

С тихим наслаждением от весны, после слабой на морозы, чавкающей зимы, обошел причесанный половодьем берег. У статной, разлапистой ели присел отдохнуть. Трава едва наметилась. Земля холодила.

Не хотелось сюда приходить. Но, как и каждую весну, в неделю вольной охоты, он сидел у этого черного смоленого столба и смотрел, как тот покачивал обрывками проводов на ветру, на укрытые летом крапивой и лопухами черные остатки горелого прошлогодним весенним палом частокола. Из дубовой, огнем не взятой, опоры – враспырку рыжие гвозди. На обожженной воротине – закрывашкой проволоочное кольцо. Вспомнил, как с робостью поднимал это кольцо. Ломая крапивный сухостой, вошел на бывший двор. Навалом обломки печи, битый шифер. В заросшем саду кусты одичалой смородины. На кустах черные, как ее глаза, блестящие ягоды. В тени яблонь в жару всегда было свежо. И тогда, вместо сухого бурьяна перед ним встали длинные, до дальней верхней дороги, грядки картошки, где среди размашистых плетней белело пятно ее футболки.

Ему пятнадцать. Парит жаркий июль, они только приехали. Бабушка, трудно двигаясь, кормит птицу. Больше живности держать не по силам. Мама, в цветастом летнем халате, с крыльца звонко кличет Митю – съездить за молоком:

– В Болотовку нужно. Это за ямами, где коровники. В конце ложины, у пруда, красный дом.

У Бураковых был большой кирпичный дом (дед их еще в войну на всю деревню кирпич делал из местной глины, что у речки брали). Крыт рыже-оранжевым железом, из пристроек – выцветшая коричневая терраса. От того дом звали красным. В их Заовражье скотины не осталось (по осени соседи через два дома зарезали последнюю корову) и приходилось ездить в Болотовку.

Из сарая, где столярничал дед, Митя вывел синий, с проржавлинами, велосипед: подкачал колеса, попробовал натянутость цепи. В пыльной от опилок куртке дед работал на верстаке,

показывал сорта древесины: «Галавой-та работать сам наостришься, а руками – у меня учись, пока я живой ищю». Теперь в сарае только старый верстак и опилочная пыль. Будто дед с силой вытряс куртку и ушел.

В просторном поле, на душистой траве дороге, ветер играл с волосами. Митя вслушивался, как шуршат по проселочной дороге шины, проверял, держится ли на багажнике сумка с банкой.

Бураковы встретили приветливо. На лавке дед с папиросой в зубах шурился на Митю, бабка в фартуке выглядывала с терраски. Спрашивали как бабка, как родители. Налили до краев молока, поменяли крышки. Во двор высыпала гурьба ребят. Знакомились весело, с ребяческой пружинистой силой узнавали кто такой, откуда, приглашали рубиться в футбол. Митя робко улыбался, испуганно жал руки, а из головы не выходила белизна футболок, вынырнувшая из густой зелени. Он гнал вдоль огородов к Бураковым, когда мелькнуло справа белое пятно, он повернул голову и в память впечатались угольного цвета курчавые волосы, схваченные в упругий пучок, и такие же угольные блестящие глаза.

На другое утро, после быстрого завтрака, сославшись маме на рыбалку и запрятав у речки удочку, Митя сидел в непролазных зарослях ивняка на залидном лугу за ее домом. Для секретности шел не по деревне, а ручьем. Сразу по пояс вымок и запыхался, радостно холода сильной росой ноги и потел на ранней жаре. Теперь, на берегу речки прислушивался к горластым бронзовым петухам и рябим, беспокойным индюшкам с выводками. Рядом, в буйной траве сиротливо мычали телята. Толстошей гусак, усевшись на зеркало близкого залива, лениво шевелил в воде красными лапами, с подозрением косился на чужого. Митя приложил палец к губам и подмигнул важной птице.

Просидел часа два, пока не увидел ее в саду: сонно потягиваясь, она говорила что-то ребятам. Печной, раскаленный жар в груди, топот бьет в уши, сдавливает дыхание. Не выдержал, вылез по кустам на другой берег, ругая затекшие ноги, полями вернулся домой и долго скрывался от мамы.

Митя сам не знал, зачем все утро просидел в кустах у ее дома. Но в футбол тем же вечером в Болотовке – на выкошенном между дворами куске луга – бился как зверь. По дороге к пруду, за лесом, куда рванули на завтра купаться всей оравой (и она, где-то сзади, на красном велосипеде, с блестящим на солнце рулем), на педали жал так, что потом дрожали и болели ноги, а сидевший на раме Витька, младше Мити года на четыре, жмурился что было мочи со страху. По вечерам с шутками и анекдотами резались в карты у огня, цедили по глотку добытый у старухи-соседки (по пятналику за чекушку) марганцовкой чищенный, пшеничный самогон. Митя, налитый необъяснимой силой, притаскивал из лошинки громадные сухие бревна ветел, ставил шалашиком, разводил жуткой высоты костры, так что, верно, и звездам в холодной пустоте становилось теплее.

Где-то здесь была терраска. Сапогом отвалил обгорелые доски сарая. Тут же где-то? Найти не смог: от дома остались одни красноватые развалины русской печи. От бревенчатой террасы, настланной толстыми, по-хозяйски, досками, с высоким крепким крыльцом, в зеленый крашенным, ничего не осталось. Сломанная пожаром печь зарастет бурьяном и никогда случайный прохожий не представит, как могло здесь в довольстве шуметь привычное к труду хозяйство. Вспомнилась песня, которую она вдруг запела в один из последних вечеров. Пела неумело, тихо. Ему нравилось. Сидели здесь, на терраске, свесив наружу ноги. Она лирично прислонила голову к косяку. Семьи разъезжались, оставляли стариков на зимовку. Он не знал, что сказать. Тогда она тихо, глядя на лунный сад, запела, и он не знал, как уйти от нее, и не знал, как сделать, чтобы песня не кончалась.

Песню вспомнил и никак не мог вспомнить ее лицо. Тогда зло дернул за проволоочное кольцо, отворил невидимую воротину и вышел на мягкий от талой воды луг. Здесь будто так

и замер гусиный гогот у воды, шорох кур в крапиве у забора, высокий клекот хищника, клич испуганной индюшки.

Остаться вместе им случилось лишь через неделю со дня его появления в Болотовке. После костра (через игру языков пламени ее лицо, смотрит мимо куда-то, молчит), печеной картошки с утянутой из бабкиного подвала склянкой, ночью, тихой тропой Митя провожал ее.

– В Москву поступать буду, – говорила она. – Еще два года и все.

– А куда? – Митя говорил мало, выравнивал голос в дрожи.

– Не знаю пока. Может, на экономический. А все говорят – на юридический надо. Дядя – декан у меня там.

Стояли у ворот, молчали, и он почему-то страшился ее больше не увидеть.

Другим вечером притащил тяжелый отцовский бинокль и, усевшись на плетень, они долго разглядывали испещренное блюдо луны. Ночи стояли в тепле, ветер стих, и казалось, на луне что-то должно вот сейчас зашевелиться и поползти по щербатым кратерам. И ее рука тронула его.

Они просидели вместе ночь, а под утро, когда за далеким лесом разгорались зарницы и, казалось, даже птицы замерли в садах, он с трепетом коснулся ее лица. Провел рукой по курчавым, жестким волосам. Она не отстранялась, смотрела блестящими лунными глазами, и ждала его.

окончание первое

Продрался заросшим садом, вышел к разбитым коровникам. Скелет колхоза плохо подходит солнечной весне. Его остов, след чужой эпохи, летом утопал в крапиве и борщевике. Недавно в этих местах еще оставались люди, коровники разбирали на кирпич; после бросили. Когда деревня умерла, первые годы приезжие грибники еще набивали тропы по старым колеям.

Теперь здесь ходят дорогой зверя. Короткий путь в бурьяне пробила шустрая лисица, брод через полную весной речку отыскивали кабаны. В излучине, под бугром, где старик Бураков брал глину на кирпич, у них грязевые ванны. Ширококорые лоси за зиму ободрали яблони в садах, стволы длинными полосами исчерчены их острыми резцами.

Пробираешься натопанной копытами тропой через остатки дворов, заборов, мимо устало скособоченных столбов электропередачи, тонешь в бесконечных, подтопленных апрелем, лугах и болотах, врастаешь в природу, как привитый отросток к дереву, и не кого бояться, кроме человека. Вдыхаешь лесную сырость, ветер широких полей, и так хочется брести и брести по зарослям, скрываясь в траве, шумно, зверем засопеть, одичало улавливать тонкие запахи, прислушиваться к неслышному людьми шороху мыши, чесаться о молодые дубы густой к холодам шерстью. Изредка поднимешь мохнатую голову на медленный гул, посмотришь медовым глазом, как чертит белую полосу в синеве неживая птица. И скроешься, рыская, в кустах.

окончание второе

Когда он вернулся, Варешка, в расстегнутой от припека курточке, кричала во все горло, вытянув вверх озябшие кулачки:

– Папа, папа! У меня зуб вырвался!

Он торопливо скинул сапоги, куртку, убрал в машину ружье. Вытащил Сашку из-за руля, где тот жужжал вместо двигателя на весь двор. Катя махала из палисадника, где дымил на костре обед. Она была хороша в этом свитере с высоким горлом.

– Мы уже и в доме убрались и все приготовили, – она поцеловала его и посмотрела с любовной претензией. – Что бы ты без нас делал?!

Попробовал из котелка, смачно, чтобы Катя видела, с удовольствием причмокнул. Оглядел двор, убедился, что все в порядке. Взял на руки Варешку, которая тут же принялась наводить порядок в его темно-русой, густой шевелюре. Сел с ней на лавку, откуда открывался вид на речку. Варешка стала считать пальцы и кричать что-то бабушке, которая вышла из дома. Катя рассказывала маме, что на работе все в порядке, хотя времени совсем нет, что скоро выборы и лицами заклеен весь город, что пробки жуткие, по два часа копотишь на жаре или дрыгнешь на холоде, что продукты и услуги дорожают, а зарплата как-то хитро так растет, что не увеличивается.

Он посмотрел на них, потом дальше, где изгородью шелестел на ветру седой сухостой, шумел тальными водами ручей и во весь горизонт темнел лес за полем. От ручья прорезал слух одинокий зов ястреба. Он высоко над головой поднял Варешку, потеревил игриво.

– Ничего, ничего бы я без вас не делал! Не делал бы совсем ничего!

Чмокнул ее в пухлую щечку и потащил к столу, где мама раздавала приборы, и Катя, усадив ерзающего на месте Сашку, разливала по тарелкам горячий, пахучий обед.

18 мая 2014, М.

Вечером

Восторг надрыва, ничего не говори, какая легкая голова, пустые мысли, глаза дикие, жар обладания: сладкого, счастливого. После любви, он проводил кончиком пальца по ее животу, выпуклостям ребер, касался теплых розовых губ. Смотрел в окно как сгущается морозный январский вечер. В неге довольства она лежала, закрыв глаза:

– Пойдем гулять? Хочу шоколадного молока.

Оделись легко и быстро, радовались неназванной игре, смеялись над собой. Он боялся упустить что-то важное в ее редких, сочных взглядах. Будто питался чувством к нему в ее глазах. Как драгоценное сокровище, за которым тянулся каждый день, как цветок тянется к рассветным лучам, страхась не заметить капли их счастья.

Вышли в раннюю зимнюю темноту. Снега было не много, но свежего, искрится семицветием. Фальшиво теплые фонари пытались обмануть мороз. Слегка щекотало лицо и холодило ноги. Прохожих почти не было; карельскими валунами, раскиданными ледником, всюду темнели забравшиеся на тротуар машины.

– Не спит никто, – она качнула шапкой серебристого меха в сторону высоток, окружавших со всех сторон. Окна, частые как соты, горели желтым или белым электрическим светом.

– Времени нет, все смешалось, – его охватило необыкновенное чувство этого вечера. Радость восторга жизни бурлила внутри и выплескивалась наружу. – В деревне раньше как: вставай вместе с солнцем, за работу. Ложись – с закатом, потому что завтра снова подъем на рассвете. Электричества нет, керосинка или свечи, лучину жги бережливо. Летом работы неупорот, день большой, часов в пять на покос. А то и к молитве. Весь день работает крестьянин, поспит разве часок после обеда. Ложится затемно. Зимой рабочий день короток, сон – долгий, вяленный, топи печь по три раза на день, храни тепло. Живешь, чем в лето запасся. И так тысячу лет.

– А сейчас совсем-совсем по-другому живут, – сказал он, когда прошли по внутриворотовой узкой дороге, вышли на улицу. Вокруг стоял лес домов. Было сыро, от дороги пахло солью и асфальтом, от зданий – железом и пластиком, запахи обволакивали. Его радостно трогала ее задумчивость.

– Люди жили в природе, в едином живом дыхании с ней. Теперь не зависят от нее, очень не хотят, вернее. Всюду удобства, живут отдельно, сами по себе. Поживи раньше отдельным хозяйством!

– Живут и вместе, и отдельно совсем. Те не думаешь, это.. одиноко как-то?..

– Спят мало, а времени нет. Некогда чувствовать, некогда думать. Одиночество... Жизнь удобна, зачем им Бог? Попробуй-ка в деревне без Бога! Там пустыня вокруг, жить трудно. Всегда нужно с кем поговорить, даже если Он не отвечает.

От нежности глаза ее потемнели, и он испугался, что она заплачет на морозе.

– У нас есть мы. Есть сейчас, есть вместе, – отвечала она, не глядя на него. В этом, он видел, было больше силы, это было выше его слов. – Есть смерть, есть горе, а есть как у нас сейчас, – она чуть запнулась и вдруг сказала, снова не смотря в его сторону. – Давай повенчаемся? Не сейчас – через года, через два...

Он нахмурился: никогда, даже перед свадьбой, они не говорили об этом. Любили ездить по древним холодным церквям, молчать вместе у темных икон, преклонено разглядывать резьбу по белому камню соборов, ювелирно выточенные виноградные гроздья колон, лепестки почерневших куполов; но никогда об этом не заговаривали.

– Давай?! – блеснула она глазами. Он жалобно улыбнулся ей, полный греющим чувством счастья, ничего не ответил, шел и думал о том, как же много сил потрачено на все это. Чтобы все это было.

На улице, желтой от фонарей, от миллионов горящих окон, среди бьющих в глаза вывесок магазинов и сивушным, пропахшим газами автомобилей воздухом, он удивился живым – будто у родника в вольных, бесконечных полях – свежим побегам, врастающим в сердце.

По пути на квартиру молчали, шли рука в руку. Не смотрели на город, только друг на друга.

Потом, на кухне, за цветастой потертой скатертью, она пила из граненого стакана большими глотками холодное шоколадное молоко, широко кусала творожное кольцо, с усилием прожевав, высовывала от удовольствия язык и, совсем ребенком, незадачливо смеялась.

7 февраля 2014г.

Иван Евсеенко – младший



Родился в Курске в 1970 году. Окончил Воронежское музыкальное училище по классу гобоя. Служил в армии. Долгое время занимался авторской песней. Учился в Литературном институте имени А. М. Горького. Публиковался в русских и украинских журналах – «Мир Паустовского», «Подъём», «Порог – АК» и др. Автор книг прозы. Член Союза писателей России. Живет в Москве.

Авдотья Львовна

Авдотья Львовна просыпается рано. Даже дворники не в силах с ней соперничать. Умывшись, ловко прилаживает акриловые протезы к оставшимся четырем молярам и, выждав, когда электрочайник, победно щелкнув, успокоится, заваривает цикорий с ромашкой. Пока напиток зреет, кладет полусантиметровой толщины кусок масла на ломоть маковой сдобы и, присев на край подоконника, ждет, когда из надтреснутого динамика грянет гимн. Первые аккорды заставляют ее чуть нахмуриться, сосредоточиться. К припеву же лицо светлеет, морщины волшебным образом разглаживаются, а глаза наполняются таким светом и несвойственным пожилому возрасту блеском, что восходящее солнце кажется жалкой пародией на себя. Такое превращение происходит с ней ежеутренне в течение последних десяти лет. Именно столько она не обременена работой, заслуженно вкушая прелести пенсионного положения.

Муж Авдотьи Львовны Александр Сергеевич в это время спит тревожным сном алкоголика. Вздрагивает, матерится, беспрестанно ворочается и, кажется, даже во сне не находит себе места. Их режимы катастрофически не совпадают, как, впрочем, и взгляды на жизнь. Объединяет, пожалуй, одно – смирение.

В квартире живет еще несколько существ, одно из которых – Кеша, волнистый сиреневый попугай мужского пола. Он подает признаки жизни ровно к тому моменту, когда завтрак Авдотьи Львовны начинает интенсивно всасываться в стенки желудка.

– Кеша птичка! Сашка дурак! – по-человечьи, с хрипотцой выдает он. – Кис-кис!

Авдотья Львовна одаривает пернатого удовлетворенной улыбкой и, щедро наполняя кормушку пшеном, терпеливо отвечает:

– Да уж, Сашка у нас дурачок! А Кеша – птичка! Давай звать Маню! Кис-кис!

Прибегает Маня. Маня – рыжий кастрированный кот, половую принадлежность которого определили не сразу. Отсюда и имя. Маня достался Авдотье Львовне от уехавших за границу соседей. Сухой магазинный корм Маня не признает. С большим уважением относится к отварной селезенке и печени. Оттого, брезгливо обнюхав вчерашний «Вискас», трется жирными боками об ноги хозяйки.

– Тогда терпи.

Приняв к сведению, Маня уходит, нервно подергивая хвостом и кончиками ушей. Через минуту на кухню метеором влетает кот Василий. Серая шерсть дыбом, хвост пистолетом. Неприхотливый во всем, довольный жизнью как таковой и, соответственно, «Вискасом». (Его темное прошлое и плебейское происхождение не позволяют качать права.) И хотя у Василия есть заветная гастрономическая мечта, имя которой Кеша, он в очередной раз смиряется с ее призрачностью и потому жадно, по-мужски уминает оставшийся со вчерашнего вечера корм.

– Вот это по-нашему! Умница! – не нарадуется Авдотья Львовна, ставя на плиту кастрюльку с водой.

– Умница! – повторяет Кеша. – Кеша птичка. Сашка дурак.

Минут через пятнадцать запах поспевающей селезенки заставляет Маню вновь прибегать на кухню. Василий также не прочь вкушать натурального продукта, но, осознавая свою неисклительность, облизнувшись, убегает восвояси.

Часам к девяти «дети» (так свою живность называет Авдотья Львовна) накормлены, а значит, можно спокойно выйти на улицу и утолить жажду общения с себе подобными.

Мария Арнольдовна – лучшая подруга Авдотьи Львовны. Их дружба зиждется на неприязни мужей-алкоголиков и любви к животным. Встречаются у выхода из подъезда. Улыбаются, вздыхают, селятся.

– Со своими управилась? – выказывает особое понимание Мария Арнольдовна, поправляя черный, как строительная смола, парик.

– Да, Маш, накормила, напоила! Как без этого? Они ж как дети мне!

– А мой Рексик приболел маненько. Вчера в ветпункт снесла. Говорят, диспепсия.

Авдотья Львовна понимающе качает головой, разводит руками, жалеет Марию Арнольдовну и Рексика.

– Даст бог, все наладится. Смекты наведи ему.

– Дочь не заходит? – неожиданно спрашивает Мария Арнольдовна, опустив подведенные синей тушью веки.

– Дочь?! – брезгливо выдавливает Авдотья Львовна. – Нет у меня, Маш, никакой дочери. Знать ее не хочу.

Солидарно вздыхают. Минуту спустя Авдотья Львовна распаляется:

– Это ж надо. Выйти замуж за... – как его?.. – стриптизера! Стыд-то какой! Тьфу! Эльдаар! – Разводит руками и приседает на широко расставленных ногах. – Имя одно чего стоит. И ребятенка назвали не пойми как! Не то Арнольд, не то Оскольд.

– Арнольд Эльдарович! Мда, намудрили.

– Вот и я о том же! Не хочу их знать. И все тут. Пусть сами разбираются со своей жизнью. Посмотрим, что у них получится.

– Ясно дело – ничего! Понаиграются, да разбегутся!

– Во-во, да ребятенку жизнь покалечат! Ироды!

– Ладно, бог с ними, пойдем гулей кормить.

Пока Авдотья Львовна с Марией Арнольдовной кормят окрестных голубей хлебными крошками, Александра Сергеевича уже полчаса упорно будят телефонные звонки.

– Ну что за беспредел, твою мать! – натягивает на голову одеяло Александр Сергеевич. – Кому там неймется?

Но телефон не перестает звонить, вселяя болезненное раздражение в потенциального абонента.

– Дааа!!! Кого надо?! – злобно рычит в трубку Александр Сергеевич. Но тут же смягчается: – Доча, ты? Прости старика. Спал я. Мать где? Ушла своих кормить. Как ты? Как Арнольд-дик? Не болеет? Ну и слава богу. Я? Да нормально. Вроде не болит ничего, так, иногда радик прихватит. Что? Финалгон?! Да ну..! Водкой разотру, проходит. Нее, боже упаси, ни капли! Так, по праздничкам. Да что рассказывать? Ты же знаешь. Ее не перевоспитаешь. Горбатого могила исправит. Такие вот дела. В гости не зову, сама понимаешь. Ну, да ладно. Звони. Целую всех вас. Эльдару привет от меня. Все...

После разговора еще долго сидит на кровати, обхватив взъерошенную вспотевшую голову ладонями. Что-то невнятное бормочет под нос, но подступившая к горлу тошнота вынуждает замолчать, с трудом подняться и дойти до уборной. В желудке ничего, кроме желчи. Кое-как ополоснув лицо, прикладывается ртом к кранику. Напившись, кашляя и кашляя, согбенный, проходит в кухню. На подоконнике, в тени цветущего лимонника, лежит Маня. Заметив Александра Сергеевича, боязливо отворачивает голову к окну и делает вид, что заинтересован бьющейся в межоконном проеме мухой.

– Ну, не хочешь здороваться, не надо. Где-то у меня оставалось, если только бабка не вылила.

Находит за батареей початую чекушку, жадно выпивает и заедает неубранной со стола звездочкой «Вискаса». Через минуту алкоголь действует, и Александр Сергеевич чувствует прилив сил, как физических, так и душевных. Осмелев, развязно поворачивается к Мане, претенциозно скрещивает руки на груди, хитро щурит подернутый катарактой глаз и начинает в тысячный раз знакомый обоим разговор:

– Ну, вот, ответь мне, кто ты таков есть? А?!

Маня в ответ недовольно фыркает, пугается, случайно задев плоды лимонника, но терпит.

– Гляжу я на тебя и не пойму! Мужик ты али баба? Какого рожна тебя держат? Ради какой такой прогрессии? Мышей не ловишь, Васька для того поставлен. Гладить тебя – себя не уважать! Каков от тебя, кастрата, прок? Ответствуй!? А, молчишь?! То-то...

Маня не выдерживает, обиженно прыгивает с подоконника и убегает.

– Правильно, давай, шелести отседова, андрогин несчастный!

А потом еще вдогонку, срываясь на фальцет:

– А дочь меня любит! Отца-то! Не забывает! Так-то!!!

Смахивая слезу со щеки, пробирается в коридор, находит куртку и, потев от волнения, шарит за подкладкой. (Память, увы, не дает положительного ответа о наличии заначенного вчера полтинника.)

– Ну, вот! Молодца! – отыскав, любовно разглаживает сложенную вчетверо купюру. – Поправится Саша, значит!

– Сашка дурак! – отвечает на удар захлопнувшейся двери Кеша.

Возвращающиеся с утренней прогулки подружки издали замечают торопящегося Александра Сергеевича.

– Вон, гляди, твой поковылял! Невмоготу, видать! – восклицает Мария Арнольдовна.

– И не говори, Маш. Когда ж они до смерти-то налагаются? Поверишь ли, сдохнет – не заплачу! Всю жизнь мне измызгал дурью своей! Себя да других измучил! А Бог терпит. И мы... Ты в поликлинику завтра пойдешь?

– Да! К глазнику. Внутриглазное проверить.

– Вот и я к зубному. С протезом – беда...

Расходятся по домам, пообещав встретиться вечером. Возвратившись, Авдотья Львовна в очередной раз кормит своих питомцев, производит влажную уборку во всей квартире, кушает картофельный суп с клецками и, усевшись в старое выцветшее кресло, включает телевизор.

Как и многие люди ее возраста, она боготворит сериалы. Смотрит их внимательно. На рекламу не уходит, опасаясь пропустить самое значительное. Знает по имени каждого героя и всем сердцем болеет за судьбы полюбившихся персонажей. Искренне, по-детски расстраивается, если по какой-то причине пропускает серию. Но, посмотрев ее следующим утром при повторном показе, успокаивается и умиротворенно живет дальше.

Сериал, по мнению Авдотьи Львовны, обязаны смотреть все члены семьи (Александр Сергеевич не в счет), поэтому даже клетка с Кешей переносится на время телесеанса из кухни в зал, где торжественно устанавливается на табуретку вблизи телевизора. Маня вальяжно устраивается на коленях хозяйки, Василий в ногах. Первые минуты смотрят молча, словно бояться нарушить намеченный в предыдущих сериях ход событий. Вскоре, убедившись, что все идет по плану, бросают разного рода реплики.

– Правильно! – со знанием дела говорит Авдотья Львовна. – На кой черт ей этот Хорхе сдался. Сам как петух в курятнике, а все ему мало!

Маня с Василием в ответ многозначительно переглядываются и в знак полнейшего согласия довольно урчат.

– Сашка дурак, – резюмирует Кеша. – Кис-кис.

Коты по привычке вздрагивают. Авдотья Львовна добрым взглядом успокаивает их, почесывая Мане шейку:

– И Сашка, да... такой же козел был. Еще похлеще! Все они ходоки, пока порошу хватает, а как кончится, так к бутылке присасываются.

Где-то на середине серии слышится лязг ключей в прихожей. Это в стельку пьяный возвращается Александр Сергеевич. На щеке свежая ссадина, карман куртки разорван по шву, в руке – накрытая одноразовым стаканчиком поллитровка.

– Что...?! Отец вам не тот?! Пригrelись да?... На шее... Я, погодите, устрою вам, где р...

Круша все на пути, проходит в свою комнату, падает на диван и засыпает.

– Легко на помине-то! Варвар, – вздыхает Авдотья Львовна. – Ладно, ну его...

К концу сериала Авдотья Львовна почти всегда засыпает. Сегодняшний день – не исключение. Коты тоже бы не прочь заснуть, но храп хозяйки настолько громок и необычен, что сделать это почти невозможно.

Снится Авдотье Львовне в последнее время один и тот же сон. Будто она-первоклассница возвращается из школы домой. Причесанная головка в огромных белых бантах. Поверх школьного платья белоснежный накрахмаленный фартук с развесистыми кружевами. Ножки в белых праздничных гольфиках и розовых лакированных туфельках с красной каймой по краям. За спиной новенький кожаный ранец, к первому сентября родителями подаренный. В нем учебники разные, пенал с ручками, да тетрадки с первыми четверками и пятерками. На радостях по пути забегает в кондитерскую и покупает у продавщицы тети Любы (маминой знакомой) сто граммов ирисок. Тетя Люба отпускает, добавляя бесплатно еще парочку, добродушно улыбается и машет рукой вслед.

– До свидания! – весело говорит девочка.

Выйдя на улицу, исподлобья глядит на солнышко, словно спрашивая: «Можно?!» Солнышко улыбается: «Можно!» Авдотья Львовна аккуратно разрывает пакетик, смотрит на кон-

фетки, не спеша, любитесь обертками. Во сне они не такие, как наяву – блеклые и неинтересные, а наоборот – блестящие и разноцветные, как узоры в калейдоскопе. Звонко смеясь, разворачивает, кладет в ротик, жуёт своими наполовину молочными зубками, прикрывая от удовольствия глазки. И кажутся ей эти ириски такими сладкими, такими необычными... Они точно тают во рту, как сладкий волшебный снег, заставляя думать, будто нет на свете ничего вкуснее и замечательнее...

И все было бы как и прежде, если бы на этот раз одна, последняя ириска не оказалась такой твердой, каменной будто, что разжевать ее семилетней Авдотье Львовне оказывается не под силу. Плачет она от бессилия и обиды во сне своем детском, и наяву тоже плачет, всхлипывает. Да так жалобно, так громко, что попадает эта самая ириска ей в дыхательное горлышко и застревает там намертво. Ни туда, ни сюда.

От нехватки воздуха охваченная ужасом Авдотья Львовна просыпается. Испуганно качает всем телом из стороны в сторону и силится позвать на помощь Александра Сергеевича.

– Са... шаа... – с трудом вырывается у нее из груди.

– Сашка дурак, – отвечает ей Кеша. – Кеша птичка. Кис-кис.

Маня в ужасе спрыгивает с трясущихся колен хозяйки и вопросительно смотрит на Василия, который хотя и не теряет самообладания, но на всякий случай отбегает в сторону. Притаившись, не моргая, выжидающе смотрит медно-желтыми глазами на задыхающуюся хозяйку. Мгновение... и силы вовсе покидают ее. Кот мужественно опускает голову, шевелит усами и уходит прочь, случайно задев хвостом кусочек зубного протеза, так поздно выпавшего изо рта Авдотьи Львовны.

Папин борщ

Сёмушка ехал по узенькой каштановой аллее на трехколесном велосипеде, я шел следом и украдкой наблюдал за его маленькими пухлыми ножками, так весело крутящими педали. Прохожие вежливо расступались перед ним, нахваливали, добродушно улыбаясь и вздыхая.

– Дорогу молодым! – провозгласил сидящий на лавке седовласый старик. – Ишь, какой! Молодец, пацан!

Я смотрел на сына с нескрываемым умилением, поражаясь лихости и аккуратности, с которыми он объезжает препятствия. Позавчера ему исполнилось четыре года.

– Папа! – неожиданно остановился он. – А где твой папа?

– Умер... Давно.

– Зачем?

– Заболел и умер.

– А-а... – задумчиво протянул он, но потом отвлекся на барахтающегося в песке воробья, улыбнулся ему и покатиł дальше.

«Заболел и умер». Так или примерно так отвечал на подобные вопросы мой отец. Наверное, он тоже в свое время это от кого-то услышал. Может, от своего отца. Фраза закрепилась, осела в сознании непоколебимой аксиомой и наконец дошла до меня. Что ж, удобный ответ. Исчерпывающий, окончательный. Вот такая цепочка. Связь времен и поколений, от старого к малому.

Я давно для себя отметил, что воспоминания об отце живут во мне вспышками, похожими на те, которые возникают в ночном небе в преддверии дождя. Они возникают неожиданно, спонтанно, будто светом своим пытаются предварить очистительную дождевую бурю понимания того, что в действительности значит для меня отец.

Из-за службы на Тихоокеанском военно-морском флоте большую часть жизни он находился в плавании. Учения, морские походы к дальним берегам не позволяли подолгу быть с семьей. Тогда, в безоблачном детстве, это не слишком тревожило меня. Казалось, что так,

скорее всего, и должно быть, что подобное, видимо, происходит у всех детей. Мало смущало и то, что моими истинными воспитателями являлись мать и бабушка. Я рос смышленным мальчиком, и им было очень приятно возиться со мной. Отец, возвращаясь из череды командировок, лишь с оценивающей улыбкой смотрел на меня и, поглаживая подернутые ржавчиной прокуренные усы, нутряным басом констатировал:

– Ишь, какой! Молодец, пацан!

В точности, как этот дед на лавке... Покуда я был совсем маленьким, то смотрел на отца, как на Деда Мороза. Еще бы, он появлялся неожиданно. Разумеется, все знали о предполагаемом времени приезда, но для меня это почти всегда оказывалось сюрпризом. Может, потому, что я, как всякий ребенок, уставал ждать и забывал. Порой я настолько утомлялся многомесячным ожиданием, что выуживал из памяти разного рода приметы его возвращений и невольно заучивал их. Странно, но я научился узнавать его по скрежету ключей в замке, которые от нечастого применения долго не могли оживить сувальдный механизм. Одетый в черный китель, пахнувший табаком, гуталином и еще чем-то грубым и мужским, он грузно входил в коридор, небрежно ставил на пол пузатые кожаные сумки и по неосторожности задевал фуражкой люстру, которая словно маятник начинала опасно раскачиваться. (Как я тогда мечтал поскорее вырасти и тоже задевать эту люстру!) Хитро прищурившись, отец осторожно останавливал ее, снимал головной убор и, спешно пригладив начинающие серебриться волосы, предоставлял нам всего себя. Квартира в одночасье накрывалась волной радости, наполнялась приятной суетой и ожиданием торжества, сравнимого только с Новым Годом и Днем Рождения. В первую очередь он подходил к бабушке – своей маме, трижды целовал ее в бледные морщинистые щеки, ласково гладил по голове. Затем целовал мою маму. И уж после этого брал меня на руки, надевал капитанскую фуражку мне на голову и долго смеялся тому, как забавно я в ней смотрюсь.

– Ничего! В следующий раз бескозырку привезу, – обещал он. – Будешь моряком?

– Не-а! – четко звонил я. – Капитаном хочу!

– Ну, раз хочешь, будешь! Но сначала – моряком.

И так было всегда. Все мое раннее детство пронизано томительно-радостным чувством ожидания отца. В такие дни я даже предположить не мог, что когда-нибудь это может закончиться, оборваться в одно мгновение...

Однажды пришла телеграмма. Мол, ждите завтра. Мы принялись резко готовиться: покупать продукты, звонить родственникам. Помню, как мама достала из глубин шифоньера свое самое красивое шелковое платье с крупными желто-красными герберами и долго гладила его. Бабушка все утро пекла пироги с капустой и варила компот из сухофруктов. Где-то к полудню они решили пойти на рынок купить недостающую зелень и гуся. Я остался один.

Что делал я в те часы? Не помню. Может, уроки, или прибирался в своей комнате. Ведь к тому времени мне исполнилось десять лет. Кажется, я тайком успел помечтать о том, как покажу отцу школьные грамоты и похвальные листы за прошлое полугодие. С гордостью продемонстрирую модель линкора «Советский Союз», который несколько месяцев склеивал по замысловатым чертежам из подаренного отцом научно-популярного журнала. Представлял, как он удивится моему не по годам высокому росту и, наверное, уже не рискнет взять на руки. Я так размечтался тогда, что не услышал звук знакомых шагов в прихожей. Я не поверил своим ушам, ведь этого не могло быть. Все должно было случиться завтра... Но нет, отец уже стоял в коридоре, такой же, как всегда, улыбающийся и родной.

– Сашка! Ты что ж, один? – воскликнул он, увидев, как я со всей мочи бегу к нему.

– Папка! Как я рад!

– А где мама, бабушка?

– Они за гусем пошли на рынок! – почти кричал я, крепко обнимая отца за шею.

– Да?! Ну, ничего. Какой же ты большущий-то вымахал! А я теперь надолго. Ну, рассказывай!

Мы уселись на кухне и некоторое время в радостном молчании смотрели друг на друга. Потом неожиданно рассмеялись, и я без умолку затараторил о своих школьных успехах, о том, как изо всех сил ждал его долгие месяцы, о том, как мы с ним поедем рыбачить и еще о чем-то, как мне казалось, очень-очень важном. Он смотрел на меня немного отстраненно, не слушая будто, но в то же время внимательно, словно пытался уловить во мне скрытые от других, и видимые лишь ему одному перемены. Пару раз потрепал мой непослушный чуб, улыбнулся разорванной на локте рубашке и довольно пробасил:

– Ишь, какой! Молодец, пацан!

Прошло полчаса, отец, насытившись моими рассказами, встал с табуретки и пошел переодеваться. Вскоре он вновь появился на кухне, теперь уже в спортивном костюме, из-под куртки которого треугольником виднелась флотская тельняшка. Выпив чаю и покурив, он неожиданно повернулся ко мне и заговорщическим шепотом спросил:

– Саш, а поесть-то у нас что-нибудь найдется?

Я тут же вспомнил о бабушкиных пирогах, компоте, и незамедлительно предложил их ему.

– Пироги, это, конечно, хорошо, – хитро улыбнулся он, – но для таких серьезных мужиков, как мы с тобой, несолидно. Как считаешь?

Не зная, что ответить, я недоуменно повел плечами и вопросительно посмотрел на отца.

– Женщины-то наши, поди, не скоро вернутся. Давай, пока они там на гуся охотятся, сварганим настоящий украинский борщ! А, Сань?!

Я, зная, что отец – морской офицер, командующий не одной сотней матросов, удивленно поднял брови и недоуменно, даже чуть обиженно пробурчал:

– Готовить?! Да разве ж это мужское дело?

Отец дружески хлопнул меня по плечу, улыбнулся и вполне серьезно ответил:

– Знаешь, Сашка, по большому счету, нет на земле таких дел, которыми не имеет права заниматься настоящий мужик. А уж борща сварить завсегда уметь должен. Овощи есть какие?

– Щас гляну. Вроде есть, на балконе.

Пока я рылся в бабушкиных запасах, отец выискал в углу морозильника увесистую говяжью кость, обозвал ее мослом, и вскоре она горделиво выглядывала из пятилитровой кастрюли.

– Молодца! – довольно сказал он, увидев, как я затаскиваю пакет с овощами на кухню. – Картошку чистить умеешь?

– Не знаю! Не пробовал! – испуганно ответил я.

– Ну, вот, сейчас и узнаем, какой из тебя моряк. Главное, запомни, кожура должна быть толщиной в газетный лист.

Я поставил перед собой помойное ведро, эмалированную миску с водой, взял самый острый нож и принялся за дело.

«Эх, чтоб ее... Знает ведь, о чем говорит!» – сокрушался я, едва справляясь с очередной «синеглазкой».

Кожура, несмотря на все ухищрения, получалась миллиметра три толщиной. Отец изредка поглядывал на мои «успехи», а сам, тем временем, ловко резал репчатый лук. А выходил он из-под его ножа маленький, ровными, впечатляющими конвейерной одинаковостью квадратиками. Удивляло и то, что я, сидевший в двух метрах от отца, просто-таки истекал луковыми слезами, а он, непосредственный резчик, спокойно, бесслезно кромсал ядовитый овощ.

– Штук пять есть? – спросил он, высыпая нарезанный лук в бульон.

– Ага!

– Еще две и баста!

Сколько раз я ел бабушкины супы и борщи, совершенно не задумываясь над тем, что всему этому предшествует. Настоящим откровением стал для меня процесс тушения тертой свеклы и моркови. Изодранные до крови пальцы вызвали во мне тогда и сохранили до сих пор непоколебимое уважение к женскому труду. Испробовав на самом себе все тонкости и премудрости приготовления борща, я никогда больше не оставлял порцию чего-либо недоеденной.

Нужно было видеть, как округлились мои глаза, случайно застав момент превращения бесцветного говяжьего бульона в бордовую, с оранжево-золотистыми вкраплениями жидкость, впоследствии называемую борщом. Вот так химическая реакция! Вот так дела!

– Пусть свекла проварится, как следует. Потом картошку закинем...

– А капусту? – проявил нетерпение я.

– Ее в самом конце...

Шинковал капусту отец сам. Процесс точь-в-точь напоминал ранее описанную резку лука. Бабушка, которую до сего дня я считал лучшим поваром в мире, теперь сдала позиции. Капуста получалась одинаковой длины, а ее толщина не превышала двух миллиметров. Это выглядело очевидным, но невероятным. Где и при каких обстоятельствах получил поварские навыки мой отец, я не знал. Для меня, прежде всего, он оставался морским офицером.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «Литрес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на Литрес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.